

## Содержание

### **Часть первая.** *Лето 1945 года. Деревня*

Глава 1 . . . . .	3
Глава 2 . . . . .	31
Глава 3 . . . . .	63
Глава 4 . . . . .	93
Глава 5 . . . . .	125
Глава 6 . . . . .	156

### **Часть вторая.** *195... год. Токио*

Глава 1 . . . . .	187
Глава 2 . . . . .	231
Глава 3 . . . . .	261
Глава 4 . . . . .	305
Глава 5 . . . . .	335
Глава 6 . . . . .	364
Глава 7 . . . . .	394
Глава 8 . . . . .	423
Глава 9 . . . . .	442
Глава 10 . . . . .	465

# Часть первая

## Лето 1945 года. Деревня

### Глава 1

— Я не смогу этого сделать, — сказал я. — Я ведь не ребенок и не птица.

*У.Х. Оден*

— Ты каждый день опаздываешь. И нечего на меня коситься! — сказала учительница. — А ведь еще недавно ты был самым лучшим учеником среди шестиклассников нашей школы, был настоящим маленьким гражданином.

А я и не косился на нее, просто правый глаз у меня косит. Я опускаю голову. Потом краешком глаза смотрю на залитую солнцем маленькую спортивную площадку.

— Ты что-то скрываешь. Признайся, в чем дело. И попробуй только не сказать... — Хлоп. Правая щека вспыхивает огнем.

Я быстро поднимаю глаза и смотрю на толстое и красное, в капельках пота лицо учительницы. Чувствую, что она колеблется: звать или не звать этого верзилу, помощника директора, чтобы тот наказал меня и силой заставил сознаться во всем.

На мои уши набрасываются шершавые, цепкие пальцы и, точно слепни, больно впиваются в них. От неожиданности и боли я пугаюсь, но тут же успокаиваю себя: «Она хочет наказать меня, не прибегая ни к чьей помощи». Лучше уж терпеть боль от нее, чем от этого верзилы, помощника директора. И я начинаю вопить, будто мне и в самом деле нестерпимо больно. Как кошка, которая мурлычет, когда ее гладят, я, чтобы привести учительницу в хорошее расположение духа, изо всех сил стараюсь показать, что боль мне безразлична.

Когда какое-либо действие учителя не встречает ответной реакции учеников, тот будет снова и снова повторять его, пока не добьется своего. У меня не было никакого желания быть наказанным, если этого можно избежать с помощью простой детской изворотливости. В общем, зря она все это затеяла.

Учительница оставила в покое мои горящие уши и, точно обжегшись кипящей кровью, пульсирующей в них, медленно, будто сжимая в руках по тяжелому камню, опустила руки на толстые выпирающие колени, обтянутые шароварами. Здоровенные, как у мужчины, грязные руки. «Как только вырвусь из класса, сразу же вымою уши под краном».

— Почему, ну почему ты вдруг стал таким плохим мальчиком? Объясни, в чем дело? Что ж, можешь молчать, я и так все прекрасно понимаю.

Перехватывает дыхание, лицо пылает. Внутри все горит, и даже послеполуденный воздух знойного лета несет прохладу. Учительница молчит, молчу и я. Кроме нас двоих, в классе нет никого.

С реки сюда — школа стоит на горе — доносятся крики ребят и всплески воды. Ни на спортивной площадке, ни в других классах нет никого. В учительской, через две комнаты от нас, громко кричит радио и стоит гробовое молчание учителей, внимательно слушающих его и ничего не понимающих. От этого в волнении бьется сердце. «Важное сообщение», — так сказал директор школы. Мне кажется, учительница тоже хочет поскорее отделаться от меня, чтобы пойти слушать радио. Если б она это сделала, я бы сразу освободился от овладевшего мной гнетущего чувства.

Хлоп! И снова звенит щека, уши слышат этот звон. Потом боль отдается в голове. Похоже, учительница по-настоящему разозлилась. Выйдя из себя, она в бешенстве кричит писклявым голосом:

— Рассказывай все! И не вздумай ничего скрывать, я и так все знаю. Не хитри, рассказывай все!

«Ну что мне делать? Не могу же я ей все рассказать, — думаю я, глядя, как слеза с моей щеки катится по бороздке, прорезанной в парте перочинным ножом. — Нет, не могу я ей ничего рассказать».

Все началось с того самого дня, как один из курсантов, приехавших в деревню, сказал: «Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь!» Раньше, еще до приезда этого злосчастного курсанта, я как-то спросил отца: «Разве я смогу пойти на войну? Я еще совсем маленький и на войну не успею. Я, наверное, опоздаю на войну, а?»

«Не успеешь на войну? Опоздаешь на войну? Почему? Нет, ты не должен опоздать. Война, еще

одна война, а потом снова война. Войны не кончатся. Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. — Так мне говорил отец. — На войну никто не опоздает. Все пойдут на войну, все станут солдатами». Так говорил отец. И у меня было чувство, что так говорили давно, очень, очень давно. Так говорили отцы еще со времен Дзимму, основателя империи. Отцы говорили это сыновьям после Дзимму, в течение многих веков, когда на смену одному императору приходил другой: «Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. На войну никто не опоздает! Все пойдут на войну, все станут солдатами! Ну, иди, играй, закаляйся. А то наденут на тебя солдатскую форму, а ты вон какой тщедушный». И вот я, чтобы стать сильным солдатом, стать крепким, как все солдаты из нашей деревни, вместо того, чтобы ходить, начал бегать, а во время уборки класса вместо легких стульев двигал тяжелые столы — так я закалял себя.

В один прекрасный день курсант, приехавший со своими товарищами в нашу деревню на строительство скипидарного завода, курсант не в темно-синей форме с семью пуговицами, как на фотографиях, а в желтой рабочей одежде и выгоревшей военной фуражке, посеял во мне семена тревоги. Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь.

— С тех пор как у тебя умер отец, ты стал самым ленивым учеником.

Учительница сказала это тихо и грустно, чуть ли не со слезами в голосе, и в то же время убежденно, всем своим видом показывая, что она отказалась от

мысли добиться от меня ответа. Я вздохнул с облегчением. Я спасен. Учительница ничего не знает о беспросветной тревоге, которую поселил в моем сердце курсант. Я раскаиваюсь в том, что опаздываю на уроки, в том, что не смотрю в глаза учительнице. Я вижу себя со стороны, в углу душевной комнаты, освещенной послеполуденным солнцем, уже не испытывающим никакой тяжести от присутствия учительницы.

— Бедненький. Бедненький мальчик. После смерти отца ты живешь в каком-то постоянном страхе.

Учительница все говорит и говорит — это целый поток жалостливых слов, мягких, ласкающих душу слов. «Ошибаешься». Но я старательно, так старательно, что даже слезы на глаза навернулись, делаю вид, будто погружаюсь в эту тепловатую водичку сочувствия и ободрения. Потом я начинаю думать о жаре. Утром и то уже было жарко. У меня такая игра — и утром, и в полдень, и после полудня, и совсем к вечеру измерять, как накаляется и остывает летний день. Летний день, обжигающий щеки, как при лихорадке; летний день, палящий подсолнечник и траву под ним, голую красноватую землю, костлявую спину белесой кошки. Я смотрю на все это, прижавшись щекой к оконному переплету, — вот мои приборы, которыми я измеряю летний день, измеряю высший его взлет в три часа пополудни. Летний день первого разряда, второго разряда; летний день вне разряда, особый, неслыханный в прошлом летний день. Я измеряю его и в соответствии с показаниями своих приборов готовлюсь

к послеполуденному времени. Сколько налить воды курам? Нужно ли укрыть травой оцинкованную крышу? Нужно ли оттащить подальше в сарай клетку с кроликами? Стоит ли еще утром нарвать персиков и тут же все съесть? Или, может быть, если они не перезреют, треть оставить на дереве до вечера? Когда все готово, я спускаюсь к реке, по дороге протирая стекло маски, смочив ее росой с полыни. До самого вечера я спасаюсь от летней жары на реке. Голый и мокрый.

Сегодняшний день я еще утром определил как неслыханный в прошлом. А сейчас, во второй половине дня, он достиг апогея и его внешняя оболочка, с трудом сохраняя равновесие, дрожит, готовая взорваться.

— Крепись. Ты не должен падать духом, как не падают духом летчики и солдаты на фронте.

Учительница шепчет слова утешения, наклонив ко мне свое толстое красное лицо, покрытое потом. Меня начинает тошнить — так пахнет у нее изо рта. Я задерживаю дыхание и кошу глаз в сторону, избегая ее взгляда. На белом прямоугольнике спортивной площадки, пустой из-за жары, неожиданно появляются две черные фигуры — они привлекают мое внимание.

Мальчик примерно моего возраста, с трудом кончиками пальцев нажимая на педали старого, похожего на долговязую клячу велосипеда, делает круг за кругом в центре площадки. Движущаяся короткая тень велосипеда горбит прочерченную им колею, точно выгибает спину неведомый зверь. Нестерпимо жаркий воздух маревом колышется над

спортивной площадкой, усыпанной мелким гравием. Если долго пристально смотреть, к горлу подступает тошнота. Круг, по которому движется велосипед, все сужается. В центре стоит женщина в соломенной шляпе и полотняном платье, городская женщина, толстая и бесформенная, как бревно, и, изнемогая от жары, присматривает за сыном. Правда, на него она не смотрит, стоит, молча опустив голову, чем-то озабоченная. Эту женщину я уже встречал на почте. Я видел ее, когда однажды зашел купить открытки. Деревенские ребята, переступая с ноги на ногу на солнцепеке, столпились у почты и в восторге молча пялили на нее глаза. В полутемном помещении почты белое полотняное платье казалось особенно ярким. Мать эвакуированного мальчика. Все время, когда говорит с ним, называет себя «мама», «мама». У меня пропала охота покупать открытки. Захотелось избить и деревенских ребят, чтобы не тарасили на человека глаза, и этого эвакуированного. А потом женщина повернула к нам скуластое, сплошь поросшее светлым пухом лицо, и все ребята, в том числе и я, пораженные отступили...

Круг, по которому бесшумно крутится велосипед, все сужается и сужается, и наконец до плеча сидящего на нем мальчика дотягивается рука матери. Мальчик слезает с велосипеда. И оба, переговариваясь и толкая велосипед, уходят в сторону колодца.

Радио из учительской кричит все громче, запах от учительницы все нестерпимее. «Мало того что мне приходится выслушивать ее ругань, я должен еще нюхать ее пот».

— Вчера приходила твоя мать, — говорит учительница.

«Ага, вот почему меня оставили сегодня после уроков. Теперь все ясно». Я испытываю огромное облегчение, даже проникаюсь чувством дружбы ко всем людям в мире, исключая американцев и англичан.

— Ты думаешь об отце? — говорит учительница.

— Думаю, — впервые открываю я рот.

Отец говорил: «Все пойдут на войну, все станут солдатами! Ну, иди, играй, закаляйся!» Но сам отец на войну не пошел. Он умер и тем самым лишил себя возможности стать солдатом. Умерев, он лежит сейчас в земле, смешавшись с корнями травы, высохшими трупами червяков и личинок, с бесчисленным множеством старых трупов, холодной галькой, перемываемой грунтовыми водами. Когда началась война, он уже давно был мертв и бессилен помочь мне, покоился в земле. Письма дяди, приходившие с далекого острова Лейте, звали к отцу как к живому человеку — их складывали у алтаря. Дядя — боевой офицер, сражающийся теперь на Сайпане, — сейчас, под вечер, может быть, пишет свое очередное письмо отцу, считая его живым. Наша семья, от горя потеряв жизненные силы и мужество, так и не сообщила дяде о смерти его брата.

— Твоя мать сказала мне, что ни разу не видела во сне отца. Ты знаешь об этом?

— Да, — сказал я.

Отец умер, и его распухшее белое тело лежит в земле, как личинка огромного насекомого. У него просто нет сил послать весточку на землю. Но все-

таки, может быть, это неправда, что мать не видит во сне отца? Мать, однажды разозлившись, теперь ненавидит меня! И, может быть, поэтому не говорит мне правду, не рассказывает, что видит во сне отца, зная, как это важно для меня. С тех пор как умер отец, мать возненавидела меня.

— А почему? — допытывается учительница.

— Не знаю.

Она с маху бьет меня по щеке. На этот раз я не могу сдержать стона от настоящей боли.

— Закрой глаза, отвратительный мальчишка, и думай об отце. Закрой глаза и думай о нем три минуты. Следующий раз не будешь говорить: «Не знаю».

Я закрываю глаза. Запах, исходящий от тела учительницы, заполняет весь окружающий мир.

Отец был веселым, добродушным человеком. Вечно он напевал что-нибудь себе под нос, напевал и делал свою работу — увязывал белые кругляки бумажного дерева, их отправляли на бумажную фабрику. Крестьянки, сидя на циновках, тонкими ножами сдирали кору с чурок, потом чурки вымачивали и сушили. Высушенные белые кругляки связывали и складывали штабелями во дворе, там всегда стоял приятный, свежий запах. А содранная черная кора и желтое лыко валялись на земле, источая отвратительный запах гнили.

Я гордился отцом. Отец тихо напевал и делал свое дело. Безразлично напевал, без всякого выражения. Пел, точно презирая песню. Он презирал женщин, пришедших на работу, презирал песню. Он хотел одного — пойти на фронт. И только при-